

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагоприятно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не

зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, — всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это разглядел, частью от нечего делать, и наконец спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:

— Зябко?

И повел плечами.

— Очень, — ответил сосед с чрезвычайною готовностью, — и, заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

— Из-за границы, что ль?

— Да, из Швейцарии.

— Фью! Эх ведь вас!..

Черноволосый присвистнул и захохотал.

Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и

праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, с лишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмеялся; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «Что же, вылечили?» — белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».

— Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, — язвительно заметил черномазый.

— Истинная правда! — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорюзлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом, — истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

— О, как вы в моем случае ошибаетесь, — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом, — конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал да два почти года там на свой счет содержал.

— Что ж, некому платить, что ли, было? — спросил черномазый.

— Да, господин Павлицев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

— Куда же приехали-то?

— То есть где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право... так...

— Не решились еще?

И оба слушателя снова захохотали.

— И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? — спросил черномазый.

— Об заклад готов биться, что так, — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, — и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.

— Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, —

продолжал чиновник, когда нахохотались досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал наконец смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), — и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арапчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облакающим иностранные башмаки ваши, но... если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница и вы не ошибаетесь, по рассеянности... что очень и очень свойственно человеку, ну хоть... от излишка воображения.

— О, вы угадали опять, — подхватил белокурый молодой человек, — ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.

— Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм... по крайней мере простодушны и искренны, а сие похвально! Гм... генерала же Епанчина знаем-с, собственно, потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлицева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлицев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный, и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с...

— Точно так, его звали Николай Андреевич Павлицев, — и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.

Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они всё знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «всё знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за

женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т.д., и т.д., и всё в этом роде. Большею частию эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.

— А позвольте, с кем имею честь... — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.

— Князь Лев Николаевич Мышкин, — отвечал тот с полною и немедленною готовностью.

— Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, — отвечал в раздумье чиновник, — то есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина «Истории» найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слухзатих-с.

— О, еще бы! — тотчас же ответил князь, — князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде...

— Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, — захихикал чиновник.

Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать, довольно, впрочем, плохой, каламбур.

— А представьте, я совсем не думая сказал, — пояснил он наконец в удивлении.

— Да уж понятно-с, понятно-с, — весело поддакнул чиновник.

— А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? — спросил вдруг черномазый.

— Да... учился...

— А я вот ничему никогда не обучался.

— Да ведь и я так, кой-чему только, — прибавил князь, чуть не в извинение. — Меня по болезни не находили возможным систематически учить.

— Рогожиных знаете? — быстро спросил черномазый.

— Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?

— Да, я, Рогожин, Парфен.

— Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных... — начал было с усиленною важностью чиновник.

— Да, тех, тех самых, — быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.

— Да... как же это? — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное, — это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капитала оставил?

— А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капитала оставил? — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. — Ишь ведь! (мигнул он на него князю) и что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат, подлец, ни мать ни денег, ни уведомления — ничего не прислали! Как собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал.

— А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о Господи! — всплеснул руками чиновник.

— Ну чего ему, скажите, пожалуйста! — раздражительно

и злобно кивнул на него опять Рогожин, — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

— И буду, и буду ходить.

— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!

— Тыфу тебя! — сплюнул черномазый. — Пять недель назад я вот, как и вы, — обратился он к князю, — с одним узелком от родителя во Псков убер, к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей-богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.

— Вы его чем-нибудь рассердили? — отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно; как-то более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж по крайней мере в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.

— Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, — отвечал Рогожин, — но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Миней читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. То же, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там тридцатый год вдовствует и всё с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграммы-то она испужалась да, не распечатывая, в часть и представила, так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич, выручил, всё

отписал. С покрова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: «Они, дескать, эвона каких денег стоят». Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! — обратился он к чиновнику. — Как по закону: святотатство?

— Святотатство! Святотатство! — тотчас же поддакнул чиновник.

— За это в Сибирь?

— В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!

— Они всё думают, что я еще болен, — продолжал Рогожин князю, — а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон да и еду: отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно чрез Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.

— Чрез Настасью Филипповну? — подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.

— Да ведь не знаешь! — крикнул на него в нетерпении Рогожин.

— Ан и знаю! — победоносно отвечал чиновник.

— Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет! — продолжал он князю.

— Ан, может, и знаю-с! — тормошился чиновник. — Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с неким Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскашталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным ведущие...

— Эге, да ты вот что! — действительно удивился наконец Рогожин. — Тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает.

— Всё знает! Лебедев всё знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексахкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть все углы и проулки знаю, и

без Лебедева, дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долгом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.

— Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым... — злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.

— Н-ничего! Н-н-ничего! Как есть ничего! — спохватился и заторопился поскорее чиновник, — н-никакими то есть деньгами Лихачев доехать не мог! Нет, это не то что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом али во Французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать: «вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна», да и только; а насчет дальнейшего — ничего! Потому что и нет ничего.

— Это вот всё так и есть, — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин, — тоже мне и Залёжев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьегоднешней отцовской бекеше через Невский перебежал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвяжаться теперь не знает, потому совсем то есть лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первойшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, — одна расправа, убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пять тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин да на все пару подвесок и

выбрал, по одному бриллиантику в каждой, этак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам — ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я то есть тогда не сказался, что это я самый и есть; а «от Парфена, дескать, Рогожина, — говорит Залёжев, — вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять». Раскрыла, взглянула, усмехнулась: «Благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание», — откланялась и ушла. Ну, вот зачем я тут не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что думал: «Всё равно, живой не вернусь!» А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залёжев всё на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде и завитой, румяный, галстух клетчатый, — так и рассыпается, так и расшаркивается, и уж наверно она его тут вместо меня приняла! «Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь!» Смеется: «А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?» Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: «Ведь уж всё равно», — и как окаянный воротился домой.

— Эх! Ух! — кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала, — а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал, — кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина; казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.

— «Сживывал!» — переговорил Рогожин. — Ты что знаешь? Тотчас, — продолжал он князю, — про всё узнал, да и Залёжев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал. «Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду». Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему наконец коробку, шваркнула: «Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеныча». Ну, а я этой порой, по матушкину благословиению,

у Сережки Протушина двадцать рублей достал да во Псков по машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся.

— Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна! — потирая руки, хихикал чиновник, — теперь, сударь, что подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим...

— А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе Бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил, — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.

— А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел... А вот и приехали!

Действительно, въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.

— Ишь, и Залёжев тут! — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился к князю. — Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в этакую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя снимаем, одену тебя в куную шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую али какую хошь, денег полны карманы набью, и... поедем к Настасье Филипповне! Придешь али нет?

— Внимайте, князь Лев Николаевич! — внушительно и торжественно подхватил Лебедев. — Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..

Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему:

— С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанные мне платя и за шубу, потому

мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.

— Деньги будут, к вечеру будут, приходи!

— Будут, будут, — подхватил чиновник, — к вечеру, до зари еще, будут!

— А до женского пола вы, князь, охотник большой? Скажите раньше!

— Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.

— Ну коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит!

— И таких Господь Бог любит, — подхватил чиновник.

— А ты ступай за мной, строка, — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.

Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро; князь расспросил прохожих, — до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.

II

Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносящий тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупках. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин — человек без образования и происходит из сол-

датских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо — стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место! Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, человеком «без лести преданным», и — куда нейдет век? — даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного, разумеется во всяком случае «тузового». Но всё было впереди, время терпело, время всё терпело, и всё должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого, по-настоящему, начинается *истинная* жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные, зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое ввечеру за картами или у его сиятельства — всё способствовало настоящим и грядущим успехам и устлало жизнь его превосходительства розами.

Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не всё были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женил-

ся генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только пятьдесят душ, — правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход, а тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было — не пропал бы даром! За немногими исключениями, супруги прожили всё время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых годах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и осваиваться.

В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери — Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только Епанчины, но по матери роду княжеского, с приданным немалым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, — все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло двадцать пять лет. Средней было двадцать три года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не всё: все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола — младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны.

Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец; но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились; известным кругом общества хотя и дорожили, но всё же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя.

Было уже около одиннадцати часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец на неоднократно и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек препроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самою приемной, у кабинета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был специальный, кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену.

— Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте, — проговорил он, неторопливо и важно усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле, с своим узелком в руках.

— Если позволите, — сказал князь, — я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному?

— В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?

Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его.

— Да, у меня дело... — начал было князь.

— Я вас не спрашиваю, какое именно дело, — мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, доклады-вать о вас не пойду.

Подозрительность этого человека, казалось, всё более и более увеличивалась; слишком уж князь не подходил под разряд всedневных посетителей, и хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по *делам*, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию, довольно широкую, камердинер был в большом сомнении; посредничество секретаря для доклада было необходимо.

— Да вы точно... из-за границы? — как-то невольно спросил он наконец — и сбился; он хотел, может быть, спросить: «Да вы точно князь Мышкин?»

— Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить: точно ли я князь Мышкин? да не спросили из вежливости.

— Гм... — промычал удивленный лакей.

— Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего: в настоящее время мои обстоятельства неказисты.

— Гм. Я опасаясь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя если вы... Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить к генералу, осмелюсь, если можно, узнать?

— О нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело.

— Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите секретаря; сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь... компанейский.

— Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил: нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой.

— По-ку-рить? — с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы всё еще не веря ушам, — покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Хе... чудно-с!

— О, я ведь не в этой комнате просил; я ведь знаю; а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно, и, знаете, есть пословица: в чужой монастырь...

— Ну как я об вас об таком доложу? — пробормотал почти невольно камердинер. — Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится... Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? — прибавил он, еще раз наклонившись на узелок князя, очевидно не дававший ему покоя.

— Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего.

— Как? Познакомиться? — с удивлением и с утроенною подозрительностью спросил камердинер. — Как же вы сказали сперва, что по делу?

— О, почти не по делу! То есть, если хотите, и есть одно дело, так, только совета спросить, но я, главное, чтоб отрекомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных, и, кроме меня с нею, Мышкиных больше и нет.

— Так вы еще и родственник? — встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.

— И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что, по-настоящему, и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношения по возвращении. Вам же всё это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы всё еще беспокоитесь: доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут — хорошо, не примут — тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять: генеральша, уж конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал.

Казалось бы, разговор князя был самый простой; но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с *человеком*. А так как *люди* гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на

бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том и в другом случае не пришлось бы за него отвечать?

— А все-таки вам в приемную бы пожаловать, — заметил он по возможности настойчивее.

— Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил, — весело засмеялся князь, — а, стало быть, вы всё еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим.

— Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу, а к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник, а Гаврила Ардалионыч без доклада идет.

— Чиновник-то?

— Гаврила-то Ардалионыч? Нет. Он в Компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда.

— Я уж об этом думал; если позволите. И, знаете, сниму я и плащ?

— Конечно, не в плаще же входить к нему.

Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы.

Хотя князь был и дурачок, — лакей уж это решил, — но все-таки генеральскому камердинеру показалось наконец неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то что князь ему почему-то нравился, в своем роде конечно. Но, с другой точки зрения, он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.

— А генеральша когда принимает? — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место.

— Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в одиннадцать допустит. Гаврилу Ардалионыча тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают.

— Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой, — заметил князь, — а вот там зато на улицах теплее на-

шего, а в домах зимой — так русскому человеку и жить с непривычки нельзя.

— Не топят?

— Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна.

— Гм! А долго вы изволили ездить?

— Да четыре года. Впрочем, я всё на одном почти месте сидел, в деревне.

— Отвыкли от нашего-то?

— И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю: «А ведь я хорошо говорю». Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня всё говорить по-русски хочется.

— Гм! Хе! В Петербурге-то прежде живали? (Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор.)

— В Петербурге? Совсем почти нет, так, только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько, слышно, нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят.

— Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?

— Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот, опять, у нас смертной казни нет.

— А там казнят?

— Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собою брал.

— Вешают?

— Нет, во Франции всё головы рубят.

— Что же, кричит?

— Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этаким широким нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно... Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.

— Не их дело.

— Конечно! Конечно! Этакую муку!.. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот

всходил — плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «Не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.

Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.

— Хорошо еще вот, что муки немного, — заметил он, — когда голова отлетает.

— Знаете ли что? — горячо подхватил князь. — Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, всё это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что *наверно*. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит.